ЛЕЧУ И, МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ ВЕРНУСЬ...

Древнеримская элегия

Я – древнеримский простак, прожил никчемную жизнь.

Ел чужой хлеб и чужие грехи искупал.

Сам же был чист, потому что, какой это грех,

некую Леду обнять, пока муж ее спал?

Много открытий всяческих я совершал,

вроде того, что горячим недолго язык обварить

или что в рыбе есть сердце, или что смерть далека,

и только после открыл, что уже ничего не открыть.

Был я в тоске, но и это тоска не моя.

Это всё лай серебристого пса на луну.

Это полёт замерзающего воробья.

Это всё ложе. Я к ложу податливо льну.

Выше себя не взлетишь. Ниже травы не падёшь.

Ближе теперь никого. Дальше – окно из слюды.

Было в дожди, и накрапывал, стало быть, дождь.

Шёл по следам, но *ничьи* это были следы.

Сердце – цилиндр и куб. Глаз – пирамида и шар.

Жизнь возвращалась к концу. Главное – тихо текла.

Вот и теперь мне сбивают откуда-то взявшийся жар:

Боги решили сполна расплатиться по части тепла.

Интермеццо

Орган безудержно звучит,

сжигая звуки,

пускай он лучше замолчит,

захлопнет люки;

сперва, как чунями, корьём

смятенья шаркал,

на полувыдранном своём

шептал и харкал,

затем презрением живым

меха рычали,

и скрежетаньем жерновым,

и льдом печали;

касторка мира – суета –

струилась мимо…

Ходи в хиджабе, красота,

ты нестерпима.

Как ты порочна и слаба,

пересыхая,

как тряпка тёплая у лба

полусухая,

в одной простынке на плечо,

в пустой палате –

тебе то хватит, то ещё,

ещё и хватит…

Возвышенно и невпопад,

впопад и мимо,

к финалу, без пути назад,

невозвратимо,

в подчеркнутую звоном хорд

колонку сметы….

Итог ужасен даже под

аплодисменты.

Слова

Жизнь состоит из слов, которыми движет страх

Того, что исчезнет их значение в складках губ,

Поскольку во всем, что есть, и кроме того в глазах

Нельзя не увидеть блеск начищенных медных труб.

И может быть, потому над ртами клубится пар,

Летит хоть куда-нибудь, бессмысленно торопясь,

Покуда так зрим полет слов в воздухе, и январь

Возносит их к небесам, а далее – долу – в грязь.

И может быть, потому так хочется их сказать,

Как будто поцеловать у самой двери – и пусть

Летят, чтобы все, что есть, и кроме того глаза

Смогли прочитать: Лечу и, может быть, не вернусь.

Там

Я пишу, потому что а что же ещё предпринять?

Досчитаться до трёх, спеть скворцом, умереть от простуды?

Вот и масло ушло. Прометеюшка, братец, огня!

Засвети хоть свечу. А обедать я нынче не буду.

Я не стану обедать, уж лучше ещё попишу,

неизвестно о чём, о возвышенной доле мальчонки,

для которого Никта подвесила в хате вожжу

и обедать не шла, поклевав человечьей печёнки.

Или я поскачу по пустым бесконечным лесам:

ни души, ни зверья, ни луны между веток, ни леших.

Прометеюшка, братец… а впрочем, не надо, я сам

запрягу вороных. Лошадей не бывает не пеших.

Не бывает не пеших, совсем не бывает коней,

каждый тянет себя, проступают сосуды на вые,

не бывает коней, и в лесах одиноких огней –

это прошлые дни, умерев, восстают как живые.

\* \* \*

Я зачат был ночью непорочно

в северной глуши, среди осин.

Мать моя сперва хотела дочь, но

ей сказали, что родится сын.

Ангел бледноликий шепелявил,

неуместный луч светил в живот,

я зачат был под забором правил,

а любви в угоду, но в обход.

По холмам ходило много ссыльных,

пораженных в жизни и правах,

много среди них встречалось сильных,

с яростным порядком в головах,

но нависло тяжкое молчанье

над глубоким омутом тайги;

вместо речи кратко: примечанье

или слово вышки и пурги.

Я глядел на небо в мех ушанки,

ёжился, работал и курил,

часто вез мистические санки

и однажды вдруг заговорил.

Бросив часть подледного улова,

скромный ужин в тихие часы,

приходили слушать мое слово

каторжане, вольные и псы.

Я сказал: невидима столица,

но на горле ловкая рука.

Пусть она берет, как говорится,

все, что можно взять у дурака,

пусть она залепит в нашу тушу

весь апоплексический заряд,

тем она не ранит нашу душу:

души наши в воздухе парят.

Будем жить, как будто всем довольны,

будто нету в раме их мурла,

устоим, когда настолько больно,

что и смерть покажется мила.

Будь ты уголовник или цаца,

бесфамильный или божий сын,

главное – от этих отличаться

камнем обобщенных образин.

Полюби торжественно и строго

каждого, кому душа дана.

Нету ничего, включая бога.

Есть одна любовь, и то – одна.

Обними вокруг себя любого,

палача и брата своего.

Так сказал им: – Я даю вам слово,

что другого нету ничего!

Все молчали, только ангел плакал,

лавки застелив, вели за стол.

Я почти не ел и только знака

ждал, что будет день, и день пришел.

Посреди какого-то пригорка,

где трава впитала сдобу дня,

наклонился надо мной Егорка

и назвал по имени меня.

В сумерках густых меня связали,

за санями в Град поволокли,

бросили в сарай и истязали,

рвали плоть, как полосу земли.

А потом, наставив дула-зенки,

волоком ведя кровавый след,

трижды прислоняли боком к стенке,

будто бы ее страшнее нет.

Был там среди них какой-то рослый,

вел беседу, думая – допрос,

предлагая жизнь и папиросы,

но не наскребая на вопрос.

Мысли его бились о портреты,

из бумаги рвались в кабинет.

Он хотел сказать, что слова нет, и

все не знал, как быть со словом «нет».

Наконец, отчаявшись добиться

если не признанья, то мольбы

и поняв, что только кость дробится,

но не шаг их собственной судьбы,

очертили трубами молелен

горку, за которой – просто лес.

Я на этом месте был расстрелян,

вычеркнут из книг и не воскрес.

На побережье

У каждой из песчинок был свой цвет,

но, по причине скромного размера,

сама неповторимость их примера

сливалась в оглушительный фальцет.

По диссонансу цвета полз моллюск:

казалось, серой краскою он мажет,

перетекает из себя в себя же

и тащит дом, как ипотечный груз.

Отдельные песчинки, прилепясь

всего на миг ко слизистому брюшку,

рыдали в это тельце, как в подушку –

обратно обреченные упасть.

И капли океана, обретя

совместную экспрессию прибоя,

все это увлекали за собою

в громадную бесцветность бытия.

И если б лечь, прижаться, если бы

припасть к песку, то выпадет мгновенье,

когда живешь не ради обобщенья,

но для песчинки – атома судьбы.